

Елена Скульская
МРАМОРНЫЙ ЛЕБЕДЬ
Детский роман
Серия «Самое время»

18+

В «Мраморном лебеде» причудливо переплетаются три линии. Первая — послевоенное детство, мучительные отношения в семье, молодость, связанная с карикатурно-мрачным Тартуским филфаком, где правит Ю. М. Лотман, рассказ о дружбе с Довлатовым и другими... Вторая линия — сюрреалистические новеллы, родившиеся из реальных событий. И третья — особый взгляд на те великие произведения литературы, которые более всего повлияли на автора. Всё вместе — портрет эпохи и одновременно — портрет писателя, чья жизнь неизбежно строится по законам его творчества. Роман — финалист «Русского Букера», лауреат премии журнала «Звезда» и премии фонда «Эстонский капитал культуры» за 2014 год.

Елена Скульская

МРАМОРНЫЙ ЛЕБЕДЬ

ДЕТСКИЙ РОМАН



ДВЕ ПЕРСИКОВЫЕ КОСТОЧКИ

Доченька моя сидит на крошечной табуретке в нише. Стены выложены неверным стеклом — выпуклым и близоруким. Свисают шланги, на них, медленно и тяжело раскачиваясь, набухают непросохшие клизмы. Еще есть огромные тазы, поманившие было сходством с тазами для варенья на даче, но за этой приманкой показались проколотые вишни с густыми каплями сока, как та капля, что была только что выдавлена из ее пальчика, и тазы наполнились больничными запахами. А она сидит на табуретке в нише, как в глубине сцены, и отдернут прорезиненный занавес, заляпанный марганцовкой и поросший наслоившейся грязью; она сидит тихо, как только умеют сидеть дети, ждущие беды. И я знаю, что с ней произойдет. Я знаю, что на нее наденут тяжелый мясницкий фартук, словно она заодно с теми, кто сейчас к ней подступится, и тоже хочет, чтобы кровь не разбрызгивалась; она зажмурится сейчас, раскроет рот; сначала каждую glandу проткнут длинной кривой иглой на шприце, а потом вырвут, и они по очереди упадут на фартук; и она наклонит голову и увидит их и запомнит на всю жизнь. И навсегда возненавидит проколотые вишни с выступившей тяжелой каплей сока, и персики в подростковом пушке, потому что их косточки, пористые, с неотделимыми кусками мякоти, будут напоминать скатывающиеся по фартуку glandы. И звенеть будут в белых судках металлические холодные инструменты, так звенеть, что невыносимо будет потом видеть на улице духовые оркестры.

Она сидит голая на табуретке, ей четыре года, и спрашивает утвердительно:

— Я пока поживу здесь, да?

И обводит взглядом неверное выпуклое стекло.

— Мамочка, я пока поживу здесь, да?

И пытается представить, как здесь можно прижиться и обустроиться.

Всё это я вижу боковым легким зреньем, потому что больше всего мне сейчас хочется курить. Может быть, и выпить, но сначала курить. Я кашляю, когда долго не курю, когда дым не обдаёт легкие. Сигареты — это укрытие; это — печка, в которой тычется в заслонку огонь и просится наружу, а ему нельзя, он заперт, разве что оторвет он от себя и выбросит на медную приступку возле печки красный лоскут, летучее рыжее кошачье письмо, словно хозяйка уже схватила кота за загривок, а он всё машет лапой блюду с

холодцом. Ну вот, дрова в печке устраиваются поудобнее, и мой отец, зажав сигарету между коричневыми лунками прокуренных пальцев, сейчас начнет читать стихи о милом мальчике, который хочет стать поэтом, не зная, какие бешеные волки бродят по дорогам скрипачей. И мне самой четыре года, и огонь рвется из печки, и жжет лицо ужас и счастье, которые выпадают на долю поэта и скрипача.

— Да, немного поживешь тут, — отвечаю я доченьке.

Мы выходим с ее отцом на больничный двор, видим окно, наполовину замазанное белой краской; хворые деревья в осеннем тряпье похмельно трясутся под ветром.

МАШЕНЬКА И МАМОЧКА

— Машенька, вставай, дорогая, последний кусок остался.

— Ешь, мамочка, мне не нужно.

— Тебе не нужно, Машенька, да мне-то нужно!

— Вот я и говорю: ты ешь, мамочка.

— Что мне есть, когда последний кусок остался. Ты не понимаешь? Я такой эгоистки вообще никогда не встречала на всем земном шаре. Что ты там лижешь? Крошки? Кто с пола разрешил брать?!

— Мамочка, не бей по ручкам. Ты меня не сможешь на органы продать!

— Хочешь, чтобы я тебя на органы продала сейчас?! Отвечай матери!

— Я не знаю, мамочка, я больше есть не стану никогда в жизни, правда, не стану.

— Что ты раскачиваешься из стороны в сторону? Что ты раскачиваешься, будто как маятник. Будто маятник мне по шее бьет и голову мою отсекает, как лишнюю. Ему иначе время не проложить по всему земному шару, маятнику... Машенька, кровиночка моя, ты правда хочешь, чтобы я продала тебя и пожила немного, как человек, я ведь устала, Машенька, так устала.

— Мамочка, ты забыла? Ты теперьними с антресолей коричневый чемодан. Осторожно, тот большой, где железки на уголках, я туда заберусь, а ты закроешь. Потому что иначе меня из дома не вынести незаметно, соседи увидят и все узнают. Мама, не этот, я в этот не влзу, мне нужно будет ножки прямо к подбородку поджимать.

— Да какая разница?!

— Такая разница, мама, что я еще Катю должна взять с собой.

— Ах, Катю? Кате ты вчера голову оторвала. Забыла?

— Баба Нюся голову пришила, да! Катя со мной ляжет. Меня на органы продадут, а Катя будет жить и не умрет никогда на свете.

— Умрет. Я рожу новую девочку и подарю Катю ей.

— Не подаришь!

— Подарю!

— Не подаришь!

— Подарю!

— Не подаришь!

— Машенька, хватит, дорогая. Мне на работу пора. Вот вернусь вечером, и опять поиграем. Только утро, хорошая моя, а я так устала, Машенька, так устала.

МРАМОРНЫЙ ЛЕБЕДЬ

Я знала, что рано или поздно лебедь расправит крылья, взлетит и убьет меня. Он стоял под потолком на узеньком поребрике печки, держась еле-еле; мраморный, со старческими склеротическими прожилками; между крыльями мрамор был вычерпан — там была пепельница; все курили. Лебедь придерживал своей тяжестью темное красно-коричневое рядно, которое мама называла плахтой (когда слышала слово «плаха», я сразу узнала это рядно); плахта прикрывала длинную печь, выкрашенную блекло-зеленой масляной краской. Печь протискивалась, пятясь, из кухни, где на ней готовили, а столовую она согревала спиной. И я лежала внизу, под лебедем, край плахты прятался за моей подушкой, и лебедь должен был непременно взлететь, и упасть камнем мне на грудь, и убить.

Но еще больше лебеда я боялась оставаться дома с сестрой, когда родители уходили в гости. Она закрывала за ними дверь и гасила везде свет; занавески были раскрыты, и в окно падала камфорная желтая луна; был большой полумрак. Наступала полнейшая тишина, ни скрипа, ни звука, живая и шумная наша квартира накрывалась с головой сумраком и замирала.

— Зоинька, Зоя, ты где? — звала я, елозя спиной по той самой плахте, которую придерживал наверху мраморный оживающий лебедь. Медленно, раскачиваясь, входила в комнату моя сестра — мне было пять лет, ей, значит, шестнадцать, она входила медленно-медленно, окунаясь в желтые лунные отсветы, руки ее были расставлены и пальцы скрючены, как когти. Ее жесткие, черные, вьющиеся тонкими проволоками волосы были распущены, вздыблены и разбросаны вокруг головы. Она молчала и шла на меня медленно, и пальцы были скрючены, как когти.

— Зоинька, ты кто? — шептала я умоляюще. — Кто ты, Зоинька?!

Но она молчала и надвигалась и наклонялась ко мне, все так же не произнося ни звука.

О, как этот ужас молчания известен нашей литературе! Хома Брут в «Вие» Гоголя больше всего пугается молчания старухи, а не бесовских ее превращений. Он спрашивает, ему не отвечают. И этот пробел ответа стремительно превращается в пропасть. Сначала Хома спрашивает, что бабусе нужно ночью в хлеве. «Но старуха шла прямо к нему с распростертыми руками». Второй вопрос он начинает со

слова «слушай», проверяя самую возможность разговора. «Но старуха раздвигала руки и ловила его, не говоря ни слова». Третий раз он кричит, надеясь, что она всего лишь глуховата и оттого не отвечает ему. «Но старуха не говорила ни слова и хватала его руками». Полнейший ужас испытывает Хома, когда и сам лишается голоса: «...он с ужасом увидел, что даже голос не звучал из уст его: слова без звука шевелились на губах».

В «Великом инквизиторе» — поэме Ивана Карамазова у Достоевского девяностолетний инквизитор «говорит вслух то, о чем все девяносто лет молчал». (Молчал, держа тем самым в страхе всю Испанию.) А пленник — Иисус Христос — молчит до самого конца.

«— А пленник тоже молчит? Глядит на него и не говорит ни слова?» — спрашивает Алеша Карамазов. «Да так и должно быть во всех случаях», — смеется Иван.

Выговорившись, инквизитор умолкает и некоторое время ждет в надежде, что ему ответят. «Ему было тяжело его молчание». Но ему ничего не отвечают, ибо страх Божий продолжается, а время развезшего уста инквизитора кончилось.

А еще раньше и не в нашей литературе трижды появляется Призрак в «Гамлете», не говоря ни слова и повергая стражу в ужас. «Стой! Молви, молви! Заклинаю, молви!» — кричит ему Горацио и не получает ответа. С этого молчания и начинается кошмар «Гамлета». В финале, среди горы трупов, Горацио получает от Гамлета рифму к началу трагедии: «The rest is silence» — «В остатке — тишина».

Я же догадывалась, что мраморный лебедь и моя сестра как-то связаны порукой будущего убийства, и готовят его, и только дают мне отсрочку. И я, пятилетняя, кидалась к сестре сама, повисала у нее на шее, прорывалась сквозь колючую проволоку волос, жалась к ней, чтобы всё кончилось и обернулось родством.

Каждый раз, когда родители собирались в гости, я умоляла их не оставлять меня (но никогда не жаловалась на сестру — так поступают многие дети, не веря в правдоподобие реальности) и всегда знала, что исключения не будет, никогда в жизни! Может быть, вся жизнь выстроилась бы иначе, если бы они хоть один раз остались и не ушли в гости.

Я задолго распознавала признаки надвигающегося кошмара: мама загибалась специальным станочком ресницы, надевала выходное крепдешинное платье с белыми полотняными подмышниками (они, как и сиреневые теплые зимние штаны с начесом, когтили меня ужасом всю жизнь);

открывался стеклянный флакон с крышкой в виде кремлевского шпиля — «Красная Москва»; засовывалась спичка в металлический тюбик с помадой — помаду выковыривали до самого доньшка — и мазались красным губы; мама вставала на каблуки, и икры ее поднимались, и ноги ее казались двумя факелами на узких древках. С этого момента всё было безнадежно, они уходили.

ЛИСИЧКЕ НЕ БОЛЬНО

Мама рассказывала историю моего рождения, как скверный анекдот.

Ей очень хотелось после войны пожить и покупать вещи. Она была совершенно равнодушна к деньгам, никогда их не копила; в 1952 году отец получил бешеный гонорар за роман «В далекой гавани», гонорар, на который можно было купить, например, машину «Волга» или построить дачу, но родители его просто прокутили в Сочи за один месяц отпуска, полученного мамой на фанерно-мебельном комбинате. Но после войны хотелось вещей.

Накрывались крахмальной скатертью столы, запекалась буженина, варился холодец. Холодец заливался в специальные формочки с плиссированным, словно юбочка, верхом. На дно формочки помещался кружок вареного яйца, потом укладывалось мясо, затем наливался клейкий жирный бульон. Всё это застывало в холодильнике, а когда приходили гости, то каждую формочку выворачивали, аккуратно подрезав ножиком по бокам, на блюде, и тогда вверху оказывался кружочек вареного яйца, за ним видно было мясо, и затем выстраивалась вся знатная и чуть покачивающаяся фигура холодца. Подавался чай по-скульски: крепкий, со спиртом, глинтвейн; его разливали в крошечные чайные чашечки прозрачного китайского фарфора; каждая чашка была своего цвета и своего затейливого рисунка. Стояли на столе блюда с нарисованными на дне кружками колбасы. С нарисованным дырчатым сыром. Продолговатое блюдо для селедки венчалось серебристой головой с пустыми селедочными глазницами, куда надлежало запихивать перышки зеленого лука; маленькое узкое блюдо предназначалось для кильки, лежавшей на боку, скромно, словно на полке плацкартного вагона.

До двенадцати лет детей держали на кухне; мы обсасывали горячие кости от холодца, выбивали их, и намазывали на хлеб мозг и посыпали его солью; нам давали корочку от буженины, сморщенную попку колбасы. А с двенадцати пускали за общий стол и наливали стопку водки. Считалось, что нужно дома научиться выпивать, чтобы потом, когда кто-нибудь захочет напоить и надругаться, то ничего, сумеет девочка и выпить, и за себя постоять, и честь сберечь.

И вот когда пускали уже за общий гостевой стол, мама любила, заев первый голод дородной селедочкой, рассказать

скверный анекдот моего рождения, посмеиваясь и приучая и меня подсмеиваться над всем родным и близким. Якобы она не знала до пяти месяцев беременности о своем состоянии. Якобы подозревали у нее язву, воспаление и даже рак желудка, и травили ее всевозможными лекарствами. А живот всё рос и рос. И надежды, получается, на спасение никакой не было. И тут-то Надежда Петровна Половьянова, мамина подруга по фабрике, и говорит моему отцу:

— Гриша, мне кажется, вы должны подарить Рае чернубурку, которая у всех жен есть, только вы никак не соберетесь, и еще отрез на черную юбку, которую ей давно прилично бы иметь.

И помогла отцу всё это приобрести. И он подарил маме. И мама пошла к портнихе шить юбку. А портниха ей говорит:

— Что же это вы, в вашем положении, юбку узкую шить собрались?

— Вы думаете, я и поносить не успею? — спрашивает мама, понимая, что дни ее сочтены и рак ее доедает.

— Конечно, не успеете! Вот как вас разносит!

— Да это муж хотел меня на прощание порадовать, — отзывается мама.

— На какое это такое прощание? Вот родишь, так и будешь юбку строить, а так талия-то от примерки к примерке ширится.

Мама охать и ахать, а портниха знай посылает ее на беременность, а не на рак провериться.

Так и выяснилось, что мама мною беременна.

Отец страшно обрадовался.

— Я этой радости ему никогда не прощу! — кричала мама, поскольку привыкла командовать большим коллективом на фанерно-мебельном комбинате, а там всегда еще грохот, так что говорить тихо не умела. — Я ему говорю: «Ты моей смерти захотел!» — И дальше припоминалась отцу какая-то лодочка, на которой он с кем-то поехал кататься, воспользовавшись тем, что мама как раз умирала родами, производя меня на свет.

И тут еще почему-то отцу в укор напоминалось, что родилась я 8 августа 1950 года, ровно через девять месяцев после смерти маминой мамы, Цили Львовны, которую папа никогда не любил.

И вот мама велела папе пойти в ЗАГС и записать меня Цилей в честь своей мамы. Папа, и правда, тещу не любил и решил назвать меня не Цилей, а Лилей. В ЗАГСе ему сказали,

что такого имени нет, можно назвать Лилией, Лирианой, а Лилей нельзя.

— А какие еще есть красивые имена? — посмотрел папа на женщин.

— Греческие имена красивые, — кокетливо сказала она. — Елена, например.

— Пусть будет Елена, — согласился папа.

Но дома не решился маме признаться в греческой своей склонности, и довольно долго я не знала, что я вовсе не Лиля...

Но я хотела рассказать совсем другую историю — про лису. Ведь по совету Надежды Петровны Половьяновой папа подарил маме не только отрез на юбку, но и полновесную чернобурку, которая непременно должна была быть у жены фронтового офицера. В пять лет я стала шить маленьким куклам наряды, и чем меньше была кукла, тем шикарнее и тщательнее я ее наряжала. У нее было и зимнее пальтецо с капюшоном, и муфточка, и варежки. Я мечтала о совсем крошечной куколке, но чтобы у нее крутились и ручки и ножки — так удобнее было ее наряжать. И мама однажды привезла мне такую из Москвы — это был единственный мамин подарок за всю жизнь, который, действительно, меня осчастливил. Маленькая беленькая куколка была у меня в руках. Ручки и ножки крутились. Я легла с ней спать и даже не злилась на крики гостей за стенкой (громче всех мама); обычно в таких случаях я ее вызывала и просила быть потише, она прерывала хохот, входила ко мне, шипела с раздражением и неудовольствием, и выходила, хохоча, обратно к гостям.

А чернобурка по-прежнему украшала мамины плечи. Шила я из обрезков и лоскутков, и как-то само собой родилось подозрение, что я могу отрезать кусочек лисьего меха на шубку куколке. И тогда мама с Надеждой Петровной рассказали мне такую историю. Жила-была такая вот девочка, как я. И у нее была мама. А у мамы была... рыжая лиса. Да, рыжая. И девочка решила из этой рыжей лисы сшить шубку своей кукле. Не маленькой кукле, а большой. И отрезала кусок от маминой лисы. Приходит мама домой и видит, что лиса ее покалечена.

— Ты что натворила?! — кинулась она к дочке. — Ты как смела лисичку изрезать?!

А дочка перепугалась, и как закричит:

— Мамочка, так лисичке ведь не больно!

— Ах, не больно?! — рассердилась мама, — не больно?! — схватила она ножницы и изрезала своей доченьке руки.

— И началось у дочки из-за этого заражение крови... — добавила мама.

— И умерла девочка, — присовокупила жалостливо Надежда Петровна.

— Правда, мама эта от горя потом повесилась... — сказала моя мама и посмотрела на меня с укором.

ДАГЕРРОТИП

В семейном альбоме сохранился у нас коричневый дагерротип начала 1917 года. С отцом, пятилетним, на деревянном, с тщанием сработанным троне, в бобровой шапке, в шубе, со скипетром из медных обрезков в одной руке, и второй рукой на холке пони; с бабкой отца, огромной и разбросанной, как заросший чертополохом сад, еще в мощи, собравшейся ехать от фотографа на прием к генерал-губернатору.

Бабка отца, моя прабабка, в девичестве Виноградова. И прадед Виноградов. Были они близкими родственниками, числились двоюродными братом и сестрой, но, думаю, родство их было еще ближе и страшнее, что-то зловещее и роковое тянуло их друг к другу. У них родилось двенадцать детей, не все были полноценными, и моя бабушка, папина мама, Роза Липовна Виноградова оказалась глухой. Она родилась без барабанных перепонки. Но ее выучили артикулировать и пользоваться голосовыми связками; страстное голубиное мычание глухонемых с их напряженными, тискающими воздух жестами было ею тоже освоено. Она говорила по-немецки (в русские школы для глухих евреев не принимали), но потом научилась говорить и по-русски.

Всё это было в украинском городе Миргороде, городе теплой волнистой пыли, утыканной перезрелыми вишнями. Прадед, Липа Виноградов, владел мельницей и даже (исключение для еврея) стал купцом второй гильдии. На мельнице работали его сыновья, заразившиеся впоследствии революционными идеями и попытавшиеся в 1905 году водрузить красный флаг среди отчей муки. С белыми лицами их свезли в Сибирь, и вернулись они только к 1917-му с крепко вбитыми в головы идеями абсолютизма.

Глухой моей бабушке Розе Липовне Виноградовой на мукомольные деньги был приобретен красавец-бедный-студент Михаил Скульский, получивший профессию врача. Во время свадебного путешествия они побывали в миланской опере и покачалась в венецианской гондоле.

В Первую мировую мой прадед, Липа Виноградов, открыл бесплатную столовую и больницу для евреев-беженцев, гонимых отовсюду; евреи считались неблагонадежными.

В 1917 году мой дед, красавец-бедный-студент Михаил Скульский, стал врачом и радостно встретил революционное освобождение от богатства жены.

Отец видел его еще несколько раз, но плохо запомнил в пустоте равнодушия. Впрочем, когда Михаил Скульский умер в Харькове, то его вдова и дочь сообщили моему отцу об утрате, и отец отослал туда деньги на похороны. На всю щедрую сумму смущенные вдова и дочь купили непомерный, величиной с городскую клумбу, венок и вынуждены были нанять для него отдельную грузовую машину; борта откинули, и венок плыл над траурной процессией — нелепый и дикий, как итог любой человеческой жизни.

За моей бабкой, уже в Киеве, уже перед самой Второй мировой войной, смачно ухаживал постовой милиционер с центральной площади. Любовь их на взбитых перьевых подушках и покрывалах с рюшами была сосредоточенна и изобильна. Но пожениться они не успели.

Отец уверял, что в молодости его мать слыла красавицей, о чем не в силах была поведать ни одна из сохранившихся фотографий.

В Таллине бабка вступила в общество глухонемых. С 1962 года мы жили в четырехкомнатной квартире, отец стал известным писателем, — бабка снова стала выгодной партией и чуть было не вышла замуж за высокого горбоносого поклонника с горящими, как у ночной птицы, глазами. Но моя мама быстро пресекла его искания, и глухонемые любовники были разлучены. Бабке тогда было за семьдесят.

В глубокой старости, спустя лет пятнадцать — чтобы не понять по губам ответа (она понимала именно по губам, по мультипликационной смене рисунков рта) или не столкнуться с сыновним взглядом — бабка любила повернуться к отцу спиной и выкрикивать в его адрес проклятья, немного захлебываясь в гласных.

Родители всегда уходили с ее дней рождения, когда за праздничным столом собирались одни глухонемые. А я оставалась, мне нравились их застолья. Гости были самых разных возрастов, там не было границ поколений — так всегда бывает в маленьких сообществах — у вымирающих народов, в театрах, где на сцену выходят вместе старики и дети, у калек и глухонемых; их руки плели, вязали, ломали, взламывали и латали, их рты гудели в музыкальной муке, исковерканные вдохновением.

Липа Виноградов, мой прадед, не погиб во время погромов, ему удалось в 1918 году с какой-то частью семьи добраться до Австралии, до Мельбурна, и открыть там обувной магазин Виноградовых. А его мельница в Миргороде

сохранилась и стала процветающим мукомольным комбинатом.

В шестидесятых годах минувшего века, пятьдесят лет назад, пришел наниматься на эту мельницу немолодой человек Олесь Житарь. Профессии у него никакой не было, и брать его не хотели, но просил он слезно — кем угодно — хоть сторожем, хоть уборщиком, хоть кем...

И вот что оказалось: во время Второй мировой войны, когда в Миргород вошли фашисты — в сентябре 1941 года — Олесь Житарь записался в полицаи, вылавливал евреев и самолично вешал их; однажды нашел он еврейскую семью в подполе дома и повел на убой вместе с укрывателями, добрыми своими знакомыми. В конце войны удалось Житарю скрыться с отступающими немцами, перебраться в Берлине в американскую зону, уплыть в Австралию, в Мельбурн. Там, наскитавшись и вконец оголодав, узнал, что рядом живут и процветают его земляки Виноградовы. Он пришел к ним в обувной магазин и рассказал, что во время войны спасал в Миргороде евреев, что одну семью даже держал у себя в подполе, но был разоблачен полициями и чудом избежал казни. Виноградовы приняли его как родного сына.

И мог бы Житарь прожить совсем другую жизнь, сытую и благополучную, но затосковал, сбежал из Мельбурна, не попрощавшись с благодетелями, вернулся в Миргород, пошел в милицию, сдался, сознался во всех преступлениях, получил пятнадцать лет лагерей, вышел на свободу и пришел на мельницу...

И как раз в то время, когда Олесь Житарь пришел наниматься на мельницу в Миргороде, в Таллине мой отец решил рассказать мне, как освобождал он в 1943 году маленький украинский городок.

Он вспоминал, как въехали на редакционной машине, как вывели им прямо на дорогу ранним сентябрем четырех босых полицаев. Как повесили тех горожане сразу — с грузовика — на сучьях.

Жирели на сучьях полицаи.

И пошли, сразу же пошли в танце женщины, расправляясь под деревьями, девушки в лежалых белых платьях.

Гармонист безногий сидел в теплой черноземной ямке от шины.

Пошатывало на сучьях полицаев, клонило в сон.

Сладкие пыльные листья прилипали к женским рукам.

Наливались соком, наливались сладким перезрелым запахом трупы на деревьях.

Засохшая глина женских тел отзывалась мякотью и тифозным жаром.

У полицаев оттопыривались карманы на пиджаках, языки не помещались больше во рту. Свесились глаза.

Солнце прощупывало крепкие суставы веток.

И так плясали, так счастливо бились-плескались под серыми гроздьями девичьи косынки, что никогда уже отец не смог об этом написать.

ЗИМНИМ ВЕЧЕРОМ

Отношения с жизнью обострились, как нос у покойного.

Вчера пришел мастер и снял унитаз с насиженного места.

Или муж целится в меня указательным пальцем. Большим пальцем взводит курок, как в театре теней, рука становится волчьей пастью на стене, пальцы поджимаются, как ноги, когда под ними должны помыть пол, потом выбирают револьвер, и раздается выстрел.

— Ты на это не смотри, — говорит мне моя подруга, ты смотри на то, что он тебя все-таки любит.

Скоро буду смотреть на его любовь одним глазом.

Моя бабка была глухонемая и ходила сгорбившись. Шел солдат лесом, встретил старую ведьму, она сделала его богатым, а он взял да и ударил ее топором и зашагал дальше. С тех пор она и ходила с топором в горбу. Шла-шла от «Огнива» до «Преступления и наказания», до Алены Ивановны, моя бабка. Я, например, вышла из топора, как суп.

Если где-нибудь начинается война, я сразу туда еду. Перестрелка — все-таки диалог, это вопрос-ответ, это люди все ж таки слышат друг друга!

Мои родители очень боялись, что я вырасту эгоисткой. И ради меня усыновили еще пятерых детей. И эти пятеро, в конце концов, заставили меня проглотить осколки бутылки из-под подсолнечного масла, и осколки, когда я глотала, пахли жирной подсолнечной взвесью с водой. Мои братья и сестры толпились у крана, брызгались, и жирные капли облепляли стены, и они вымыли бутылку кое-как, для будущего следствия, во время которого они могли бы сказать:

— А мы бутылку вымыли!

Когда моя бабка умирала, то страшно кричала. Немые кричат еще громче, чем живые. И топор торчал у нее из спины. И тогда моя старшая сестра, врач, пожалела ее и заткнула ей рот кляпом из стерильной белоснежной марли, слепящей глаза. И мы все радовались, что бабушка умирала тихо и спокойно, просто угасала.

Мои родители слишком поздно поняли, что если человеку суждено вырасти эгоистом, то никакие братья и сестры ему не помогут.

— Кому суждено быть повешенным, тот не утонет, — сказал мне папа, — ты можешь сама выбрать: повесить тебя или закопать во дворе!

Мама заплакала:

— Нельзя так баловать детей! У ребенка не должно быть выбора, тогда он вырастает настоящим человеком!

Но я была у папы любимицей, и потому меня все-таки засыпали землей, и я лежала там тихо-тихо, пока не пришли гости. Тогда меня позвали в дом и накормили, и все радовались нашей счастливой семье. А я боялась только одного: что через меня пустит корни яблонька, и я не сумею их перерезать, не смогу оборвать ее жизнь.

Яблонька! Ты пустила свои корни через меня! Ты выросла, но яблоки твои червивились, как червивилась я. Каждое яблоко становилось лицом, в котором был виден ущерб рта. Лицо падало на землю, зачерпывая крик. Брюхатый холм разрешался мертвым камнем, в котором кручинилась завязь. Бельевые веревки перерезали деревьям горло, и деревья отхаркивали кроны, как кровь. Сад прорастал жестью и толью и ветшал на глазах, зарываясь в сугробы. Весной огрызки воды срисует прохлада.

— Яблонька, не плачь! Я нарву тебе яблочек на память в раю!

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru